

Когда зимы ворованную повесть
читаю перед сном строптивцу декабрю,
читаю — как молюсь
и страшно беспокоюсь,
всё не о том, не так я говорю,
всё вру народному подстать календарю.

Пусть повесть — не роман,
но длится, длится.
Декабрь лютует, снег прессуя в лёд.
И я, небоязливая синица,
уж если угораздило родиться,
то жизнь презимую — на один пролёт.

Декабрь молчит.
И день не настаёт.

К Бунину в Грасе

Изношено небо до чёрных дыр,
горько дозрели до чёрных ягод оливы.
Чтоб вернуться к себе счастливым,
ступай, как дождь, по адресу:
Грас, Бельведер.

Ищи-свищи эту будто бы виллу
на рогах, на куличках —

пропащий день!

Не там ли вымахала через силу
русской ели колючая тень?
Игольчатый воздух на кромке лета,
и разговоры все о конце света
или конце слова...

который из них скорей?

Ни антоновских яблоч,
ни тёмных аллей —
пусто в парке принцессы Полины,
по-кошачьи кричали павлины,
и молчал соловей —

не из глины.

По пьянке выкомаривая танцы,
каналья Амстердам вихлялся на катке,
всё население — как малые голландцы,
там Ханс и Гретель в шерстяном платке,
на деревянных чурках и сестра, и брат —
и грезят о коньках с нуждой не в лад.

Москва чудит сильнее, чем Амстердам.
Ей даже чёрт не брат,
 а мне — как мать родная.
Снегурки, валенки...

 Трамваи обгоняя,
в ушанке памяти померклой
бегом по Чистым вскользь прудам,
по зеркалам — проворной водомеркой.

Метелит вальс.
Чуть живы огоньки.
Здесь где-то Гретель, где-то Ханс,
курносый, на тебя похож.
— И кто б тебя узнал?
Кто помнит Мэри Додж
её «Серебряные коньки»?

Как маленькие дети в жестокой правоте,
слова любви и смерти мы шепчем в темноте.
Всё тише в сердце залпы,
а в воздухе — восторг,
всё к смерти клонит запад,
и лишь к любви — восток.

От косточки,
от праха какая вздрогнет твердь?
Нет выбора без страха.
Одно — любовь и смерть.

Сергею Надееву

Вот и семейное деревце зацветает:
сплошь междометия на уроке зимы,
а всё казалось, тепла не хватает,
и вроде бы стыдно попросить займы.
Ведь ни мне, ни тебе отдавать нечем,
и вдруг — зацветает,
растительный вызревает свет
лепестками,
тычинками,
возгласом человечим...

Только речи о нас ещё нет.

ПЕЙЗАЖ С МЕШКАМИ

Мешки целлофановые —
сорт рукодельных цветов
или дешёвые из секонд-хэнда наряды —
на грузных деревьях,
на гибких фигурах кустов
трепещут телами — почти дриады.

Воздушные замки из себя соорив,
где фиговым листиком не прикрыться,
приют для продувных героев,
мешки вдруг прикинутся:
мы — птицы, птицы...
Синий — синицей,
розовый — снегирём,
а чёрный мешок — чёрный лебедь Одиллия —
исполнит батман и надуется пузырём,
трудовые порвав сухожилия.

Полощутся на небесных путях —
белый, голубой, красный.

Пейзаж с мешками:
кому — пустяк,
кому — отметка жизни несообразной.

Весь невозвратный выводок глаголов,
рванувших борзо из-под руки,
без отпусков и дармовых отгулов
учил дышать во всю длину строки,
пока луна тянула на лимон
в косноязычной круговерти:
нет у Любви ласкательных имён
и уменьшительных — у Смерти.

Известно, как секрет военный,
не тронувший детей и тронувшихся баб:
нет уменьшительно-ласкательной Вселенной,
где б жизнь держала слово
как масштаб.

Обид забористых частокол —
ни щели, ни лаза.
Слеза устремлённо ведёт протокол
из левого глаза.
Трава подстрекает.
Подводит тропа,
сто вёрст пешком до небес.
И что теперь плакать
и что роптать,
как дремуч мой путь
через крестный лес.

И язык мой,
возлюбленный враг,
предрекая неравную битву,
дальше Киева доведёт враз,
лишь Иисусову вспомню молитву.

Белый свет: умри-замри —
тьме не уступает.

Время тает изнутри,
вечностью питает.

Где месторождение дня,
и координаты света?
— Время тает,
но меня
не меняет это.

ХРАМУ ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ В НОГИНСКЕ

1.

Сорваться с физики на «Пепел и алмаз»,
надышаться за 20 копеек западным ветром свободы.
Любая война — изнанка природы,
а жертва — герой из народных масс.
Подлой смерти не избежать в финале,
некуда деться —
в этом плюшевом Синем зале,
не предполагая,
что ты в приделе Чудотворца Николая.

«Дьявол и десять заповедей» крутили всё лето,
лишнего — ни за какие коврижки — билета.
Жуть и хохот на две серии,
хотя в первой тебя повязали,
и нервы уже на пределе —
в этом плюшевом Красном зале,
в бывшем приделе Преподобного Сергия.

Эстрада в софитах — там где алтарь —
певица и шлягер на три куплета.
Дед Мороз в запое, вздох январь
салютует тёплым пивком из буфета.

Задолго до кинотеатра «Юность»
колокола будили город по утрам —
здесь был Богоматери Тихвинской храм,
и молилась великомученица Елисавета.

2.

В комсомольском красном клубе,
в бывшем храме
белый голубь с веткой в клюве,
Богоматерь в раме.

В новом клубе, в старом храме
жарко до озноба.
— Гармонист, рвани, зазноба,
чтоб не кисла кровь!
— Вжарь, товарищ Маша,
зажигай, до гроба —
пролетарская напролёт любовь!

Руки ловки, ноги ходки,
так оттрёпывала дробь
и глазищами стреляла —
в бровь, в бровь!
Так плясала — как писала
кренделями на ковре,
и кадрили эскадрилей
разлетались в алтаре.

— Богородица Мария,
не страшусь гореть в огне,
не спасай, не надрывайся,
не кручинься обо мне!

Разгулялись комсомольцы,
щёки — кумачом.
Нипочём им богомольцы,
даже Царские ворота нипочём.

Горе!

Заживо во сне,

как травинка на стерне,

на заре сгорела Маша...

— Где ж теперь ткачиха наша,
лучшая в стране?